

ПЕСНИ РАЗНЫХ НАРОДОВ

Перевел Н. Берг. Москва. 1854¹

Говорят, будто бы человек не бывает ничем доволен. Действительно, так иногда случается, и нельзя не сказать, что в избитой фразе о ненасытности человека, о безграничности его требований есть своя доля правды, как есть своя доля правды во всем, что когда-нибудь было или будет сказано. Но гораздо более справедливости в противоположной мысли, которая слышится не столь часто: человек вообще чрезвычайно склонен к самодовольству и, вследствие того, к довольству всем, что считает своим. Посмотрите, как неумеренно каждый народ превозносит свое участие в истории, как ставит он себя первым в мире народом! Для нас, например, посторонних, и потому до высокой степени беспристрастных зрителей забавно видеть, как французы почитают первую в мире литературою свою литературу, англичане свою, немцы свою; мало этого, — даже итальянцы до сих пор продолжают считать себя стоящими в челе всемирного движения, воображают, будто бы их поэты и ученые — не Данте или Ариосто, не Джордано Бруно или Галилей, — нет, современные, неважные ни для кого, кроме самих итальянцев, поэты и ученые — первые двигатели умственного и нравственного мира. После этого легко будет оценить и степень основательности притязаний каждого нового поколения на безусловную справедливость стремлений своего века. Беспреданно повторяется старая история присуждения греками награды тому человеку, который наиболее содействовал победе над Ксерксом: когда началась баллотировка, каждый из присутствовавших клал в урну свое собственное имя. Мы не говорим, чтобы все притязания настоящего поколения на славу были несправедливы; мы даже не хотим решать и того, справедливы ли притязания нашего времени на первенство над всеми предидущими историческими эпохами, на безусловную справедливость того «духа века», который веет ныне. Мы только хотим сказать, что похвала из собственных уст ненадежна, что самодовольство

не ручается еще за справедливость и превосходство, что надобно ждать похвалы от других, не опираясь на собственную, что истина не есть исключительная привилегия одного какого-нибудь поколения, и что полезнее подвергать строгому по возможности анализу свои понятия о собственных достоинствах, нежели успокоивать свое самолюбие фразами: «мы обладатели полной, всесторонней истины; все наши предшественники ошибались; мы выше и лучше всех; наши стремления безусловно безошибочны». Любовь к себе так сильна, что может нуждаться только в разумном обуздании, а не в безотчетных подстреканиях.

Одно из любимых обвинений со стороны нашего века против предыдущего — «наши отцы и деды мало заботились о народности». Как полно прилагается теперь эта мерка самовосхваления, например, к русской литературе! «Элемент народности слаб у Карамзина и Жуковского; потому содержание их произведений бесконечно ниже того содержания, какое находим в современной литературе». Быть может и справедливо, что в наше время литература развила в себе содержание более высокое и живое, нежели какое влагалось в нее нашими отцами; не хотим решать этого вопроса — он может быть решен только последующими поколениями, и для нас было бы горько решить его отрицательно. У кого поднимется рука на то, что кажется ему своим? Но если трудно для нас признаться, что мы ниже наших отцов, что

Над миром мы пройдем без шума и следа,
Не бросивши векам ни мысли плодотворной,
Ни гением начатого труда,
И прах наш с строгостью судьи и гражданина
Потомок оскорбит презрительным стихом², —

если нам трудно отказаться от претензий на превосходство, то, быть может, не так тяжело для нас взглянуть, действительно ли наше превосходство основывается на тех стремлениях, которые считаются отличительными чертами нашего века и которыми так гордится наш век.

Исключительное развитие племенных особенностей и общечеловечность — противоположные элементы; стремление к одному из них необходимо обращается в ущерб пристрастию к другому. В окончательном результате, правда, народность развивается соразмерно развитию общечеловечности: только образование даст индивидуальности содержание и простор; варвары все сходны между собою; каждая из высоко-образованных наций отличается от других резко обрисованною индивидуальностью. Потому, заботясь о развитии общечеловеческих начал, мы в то же время содействуем развитию своих особенных качеств, хотя бы вовсе о том не заботились. История всех наций свидетельствует об этом. Французский характер выработался только тогда, когда под древнеклассическим, итальянским и испанским влиянием разви-

лось во Франции общее образование: Рабле, Корнель и Мольер — чистые французы; между тем французские трубадуры и труверы чрезвычайно мало отличаются от средневековых певцов остальных земель Западной Европы. То же самое надобно сказать об англичанах и немцах: Шекспир явился, когда все в Англии заботилось о древнеклассической и итальянской литературах; Лессинг, Гёте и Шиллер были воспитаны не изучением средневековой поэзии, а влиянием древнеклассической и английской образованности и литературы. Развитие самостоятельности идет вслед за образованностью. Истина, повидимому, очень простая. Об ней и не говорили сто или даже шестьдесят лет тому назад. И мы не знаем, до какой степени следует нашему времени гордиться тем, что стало необходимо напоминать о ней.

Совершенно к другому результату приводит то, когда преимущественное внимание обращается на развитие содержания, специально принадлежащего тому или другому народу. Эта племенная особенность не может быть понимаема иначе, как сумма тех особенностей, которыми известная нация на известной степени развития отличается от остальных народов, и преимущественно от образованных народов, потому что, как мы говорили, необразованные народы существенно не отличаются друг от друга. Заботясь о развитии столь исключительного содержания, необходимо становишься в отталкивающее положение против общечеловеческих элементов; временное и случайное проявление становится в этом случае выше общего начала, форма выше содержания. Вместо движения превозносится застой, вместо живого духа начинает господствовать мертвая буква. Если бы мы захотели найти поразительный пример всего этого в ближайших временах и землях, мы должны были бы припомнить грустную историю тевтономании, которая нанесла так много вреда блистательно начавшемуся возрождению Германии, которая заглушила благородные семена жизни, посеянные императором Иосифом II, Фридрихом Великим, Лессингом, Кантом, Шиллером. Здесь было бы неуместно повторять историю жалкого немецкого романтизма в науке и литературе и выказывать его внутреннюю слабость и несообразность. Все это уже было красноречиво высказываемо на русском языке, и желающие припомнить давно читанное, но в последнее время позабытое многими, лучше всего сделают, если обратятся к изучению тех понятий, которые были высказываемы в эпоху Лермонтова и Гоголя³. Возвращаясь к примеру, нами представленному, укажем только на состояние немецкой литературы в настоящее время. Она наводнена переводами дюмазовских романов. Вот к чему привела тевтономания: она, думая возвысить специальную самостоятельность в литературе, убила ее; трудами Шлегелей, Тика и т. д. немецкая литература приведена совершенно в то же состояние, от которого избавили ее гуманические усилия Лессинга; разница разве только в том, что в нынешний раз упала она

гораздо ниже того уровня, на котором стояла до Лессинга, в эпоху Виланда. Такое печальное следствие необходимо, и объясняется очень просто. Забота об оригинальности губит оригинальность; истинно самостоятелен только тот, кто и не думает о возможности быть несамостоятельным. Толкует об энергии своего характера только слабохарактерный, боится подчиняться чужому влиянию только тот, кто чувствует, что его легко подчинить. Прочно мы владеем только тем, чего не боимся потерять. Итак, хлопоты о самостоятельности служат уже признаком отсутствия самостоятельности. Сознательная забота об оригинальности есть забота о форме. У кого есть содержание, тот не будет хлопотать, чтоб отличиться оригинальностью. Он не может не быть оригинален, потому и не думает об этом. А забота о форме приводит к пустоте и ничтожности. За ничтожностью следует подчинение.

Поклонение народной поэзии более всего основывается на подобных заботах о том, чтобы «литература прониклась своеобразным содержанием». Высказанные нами убеждения достаточно свидетельствуют, что мы не увлекаемся беспредельным пристрастием к народным песням. Мы не думаем ставить, как это делают многие, цыганского хора выше оперы или концерта, «Ай, вдоль по улице молодой идет» выше моцартовской или rossиниевской арии, не считаем «Древних русских стихотворений» Кириши Данилова выше «Стихотворений Пушкина». Нам кажется, что после всего сказанного исключительные почитатели народной поэзии, в том числе и г. Берг, могут упрекнуть нас в холодности к ней, и никто не причислит нас к их разряду. Итак, если в продолжение нашей статьи мы должны будем высказать о достоинствах народной поэзии суждения, которые для незнакомых с нею близко могут показаться слишком высокими, то читатели могут быть уверены, что высокое уважение к народной поэзии вызывается в нас только требованиями справедливости, а не безотчетным пристрастием и не какими-нибудь посторонними соображениями, как это часто бывает.

Отношение народных песен к произведениям письменной литературы почти совершенно соответствует отношению периода, в котором они развиваются, к характеру последующего развития народа. «Крайне трудно определить, — говорит г. Берг, — при каких именно условиях является хорошая песня у народа. Если скажут: у народа, способного к литературе — можно указать случаи, где хорошая песня является вовсе не у литературного народа. Если скажут: у благоденствующего — и тут можно найти опровержение и выставить случаи, где неблагоденствие как будто помогает явлению лучшей песни. Новая Греция тогда запела свои прекрасные клефтические песни⁴, когда нагрянули турки и внесли в Морею смерть и опустошение. Может быть, нет ничего столь прихотливого, как песня». Совершенно справедливо, что степень развития народной поэзии у известного народа не определяется

ни последующим богатством его литературы, ни его благоденствием. Но сам г. Берг определяет время процветания народной поэзии, говоря: «Всегда движение цивилизации уничтожало песню. Являясь у народа младенчествуящего, но чуткого к своему слову (?), песня впоследствии заменялась произведениями отдельных лиц. Простой человек терял к ней привязанность и забывал ее для новых романсов». Итак, народная поэзия принадлежит специально младенческому периоду народной жизни. Этого общепринятого определения, однако, недостаточно. Не у всех младенчествуящих народов есть прекрасная и богатая народная поэзия. Чем же обуславливается ее расцвет? Энергиею народной жизни. Только там являлась богатая народная поэзия, где масса народа (нет надобности прибавлять, что слово *народ* мы здесь принимаем в смысле нации, племени, говорящего одним языком) волновалась сильными и благородными чувствами, где совершались силою народа великие события. Такими периодами жизни были у испанцев войны с маврами, у сербов и греков — войны с турками, у малоруссов — войны с поляками. Проследим ближе характер младенчествуящего народа, чтобы справедливым образом оценить достоинство произведений, выражающих понятия и высказывающих жизнь того времени; потом взглянем на причины падения народной поэзии, чтобы видеть, почему не удовлетворяется ею народ, как скоро начинает цивилизоваться.

Один из величайших мыслителей нашего века ⁵ высказал идею о том, что высшая степень развития по форме совпадает с совершенною неразвитостью, существенно отличаясь от нее содержанием. В приложении к истории такая идея оказывается совершенно справедливою. Мы видим теперь, что конечный результат исторического развития состоит в теснейшем сближении всех членов нации в одно плотное духовное целое. Таково же положение людей до начала цивилизации. Все младенчествуящее племя проникается совершенно одинакою духовною жизнью. В народе необразованном масса понятий так незначительна, что семейные предания, патриархальные наставления старших в семействе совершенно достаточны для того, чтобы познакомить каждого из членов патриархального общества со всею массою идей и познаний, вращающихся в обществе. Несколько наблюдений над свойствами трав, несколько правил относительно обращения с больным или раненым, — и патриархальный человек постиг всю премудрость отечественной медицины; несколько имен самых ярких звезд и созвездий — и патриархальный человек знает все, что известно его соплеменникам об астрономии. То же самое должно сказать относительно удобств и образа жизни. Их так мало, что самые могущественные, самые богатые члены патриархального общества живут почти совершенно так же, как и вся масса народа. Вспомним о гомеровых героях, которые сами готовят кушанье, которых жены и дочери сами ткуют и шьют платье,

сами его моют. Не разделенные от остальной массы населения ни привычками к особенному образу жизни, ни степенью образованности, высшие классы общества сливаются с другими в одно целое, неразрывное по своим чувствам и стремлениям. Не отталкиваемая различием понятий и образа жизни из постоянных и домашних соотношений с могущественнейшими членами общества, остальная масса не принуждена сознавать своего ничтожества. Напротив, каждый член племени проникнут чувством собственного достоинства. Оно всегда сильно развито в младенчающем обществе. Удобств жизни почти совершенно не существует; все привыкли довольствоваться самым простым удовлетворением первейших жизненных потребностей. Потому нищета и соединенные с нею чувства замечаются редко. В сущности все бедны, но этого никто не сознает, никто этим не тяготится. Общественные отношения таковы, что масса населения принимает непосредственное участие в делах (вспомним о характере общественного устройства у германцев и славян при их появлении в истории); национальные вопросы так просты и близки к выгодам каждого, что каждый член племени вполне понимает их и принимает в них самое живое участие. В самом деле, вопросы эти ограничиваются нападениями на соседей для грабежа или защитой собственного имущества от разорений. Одним словом, вся масса народа составляет однородное целое, в котором каждый отдельный член совершенно подобен другим. При всеобщности чувства собственного достоинства, патриархальное общество вообще проникнуто какою-то нравственною возвышенностью; при всеобщей самостоятельности и участии в национальных делах, каждый член его представляется мыслителем, мудрецом; вообще, каждый привык жить умственно и нравственно, привык иметь какую-то возвышенную, благородную настроенность духа. Кроме того, по малочисленности разнотных потребностей, по самой малочисленности способов приискать им удовлетворение, по многим другим обстоятельствам, у каждого остается очень много времени, свободного от физических работ. Таким образом, у народа, находящегося на степени патриархальности, существуют все условия поэтического настроения духа, и нужно только, чтобы какие-нибудь события возбудили энергию в народе, дали пищу его нравственной жизни — тогда необходимо возникает могущественная народная поэзия. Мы говорили, что умственная и нравственная жизнь для всех членов такого народа одинакова — потому и произведения поэзии, порожденной возбуждением такой жизни, одинаково близки и понятны, одинаково милы и родственны всем членам народа.

Итак, народная поэзия возникает при отсутствии резких различий в умственной жизни народа и теснейшим образом связана с патриархальным бытом. При выходе из этого быта, при самом начале цивилизации, народ распадается на различные подразделения, из которых каждое отличается от остальных степенью

образованности, образом жизни и т. д. Это — первое явление в истории народного развития. Им разрушаются все условия существования общенародной поэзии. Здравый смысл едва ли допускает идею о том, что необходимость цивилизации нуждается в доказательствах, что неизмеримое превосходство цивилизованного быта над варварским или полуварварским может подлежать сомнениям. Но как и все на земле, развитие цивилизации сопровождается не одними выгодами. Как первые лучи солнца озаряют только вершины гор и проходит долгое время, пока они достигнут низменных долин, так и цивилизацию сначала проникают одни только могущественнейшие, высшие члены общества. Большинство остается в прежнем быте. Мало того; время и силы его все более и более поглощаются чисто физическим трудом. Все условия поэтической настроенности исчезают; нет и содержания для народной поэзии с тех пор, как масса народа перестала быть живою и сознательною участницею национальных предприятий. Народная поэзия увядает и гибнет.

Нет сомнения, что с этой, чисто литературной точки зрения цивилизация может представляться в невыгодном свете. Поэтому приверженцы поэзии, принадлежащей патриархальному быту, могут быть и часто бывают возбуждаемы к неприязни против цивилизации соображениями, вытекающими из благородного образа мыслей. Тем не менее их понятия никогда не могут заслужить одобрения. Они существенно ошибочны.

Люди, познакоившиеся с выгодами и прелестью цивилизации, никаким образом не могут быть приведены к тому, чтобы отказаться от нее. Их ответ всегда будет один и тот же: «вкусив сладкого, мы отвратились от горького»; и потому все сожаления о падении патриархального быта и, чтобы специальное говорить о нашем предмете, об увядании народной поэзии совершенно бесполезны.

Существенные качества народной поэзии, достойной своего имени, очевидны из качеств народа, которому она принадлежит, из обстоятельств ее происхождения и роли, какую играет она в народной жизни. Народная поэзия развивается только у народов энергических, свежих, полных кипучей жизни, искренности, достоинства и благородства. Потому она всегда полна свежего, энергического, истинно поэтического содержания. Она всегда возвышенна, целомудренна, если можно так выразиться, чиста, проникнута всеми началами прекрасного, которые вполне развиваются в человеке, правда, только цивилизацией, но которые, однакоже, лежат в сущности нашей нравственной организации, потому инстинктивно властвуют человеком, если он не испорчен неблагоприятными обстоятельствами. Она принадлежит целому народу, потому чужда всякой мелочности и пустоты, которой в неиспорченном народе может поддаваться только отдельный человек, а не целая масса; она вообще полна жизни, энергии, про-

стоты, искренности, дышит нравственным здоровьем. Каково ее содержание, такова и форма ее: проста, безыскусственна, благородна, энергична. Г. Берг говорит: «Первое, почему народная песня заслуживает внимания образованного человека, есть достоинство ее языка, свежего, яркого, не искаженного чуждым влиянием». Мы совершенно согласны, что она обладает этим достоинством, но думаем, что оно в ней уже второстепенное, как все достоинства формы в произведениях поэзии вообще, и само есть следствие свежести, яркости и самостоятельности ее содержания. Таким образом, в народной поэзии мы находим несравненно высшее достоинство, нежели какое указывает даже г. Берг, ее страстный поклонник.

Чрезвычайно высокое поэтическое достоинство народной поэзии обнаружилось для всех знающих людей с тех пор, как доказано было, что гомеровы поэмы не более, как сборники народных греческих песен; точно так же прекрасное творение Фирдоси, иранская «Книга царей» — только сборник и переделка народных песен. В ней много есть эпизодов, подобных которым по красоте не найдется даже в «Илиаде» и «Одиссее». Прекрасные романсы о Сиде также показывают, что не одним грекам досталось на долю развить чудную народную поэзию. Но мы можем указать примеры еще более близкие к нам. Сербские эпические песни прекрасны не менее греческих. Жалеем, что не можем на этот раз воспользоваться книгою г. Берга, у которого не находим достойных эпических песен, и потому принуждены для доказательства наших слов представить в жалком прозаическом переводе один из отрывков несравненно прекрасной сербской эпopeи. Для примера мы выбираем песни о косовской битве (1389 г.), в которой погибло сербское войско, погиб князь сербский Лазарь, которая на четыре века предала Сербию во власть турок. Для объяснения собственных имен довольно будет сказать, что князь Лазарь был женат на Милице, дочери Юго-Богдана, у которого было девять сыновей (девять Юговичей), что Вук Бранкович, первый сербский вельможа, передался на сторону турок, и что в одной из песен представляется, будто бы он перед битвою старался оклеветать лучшего воина сербского, Милоша Обилича, который действительно потом пожертвовал собою в битве для того, чтобы убить Мурата, успел заколоть его и был тут же изрублен его телохранителями. Наконец, заметим, что у сербов есть обычай побратимства (братства по оружию). Побратимство такая же крепкая и тесная связь, как родство по крови. Побратимы неразлучны на жизнь и смерть. Три главные богатыря или юнака — Милош Обилич, Иван Косанчич и Топлица Милан — побратимы.

«Султан Мурат идет на Косово поле; пришедши, пишет он письмо и посылает его в город Крушевац, к сербскому князю Лазарю: «Лазарь, сербский князь! Никогда не бывало и не может быть, чтоб в одной земле были

два господина, чтобы один подданный давал две дани. Мы не можем оба царствовать. Пришли же мне ключи и дань, золотые ключи от всех городов и дань за семь лет вперед. А если не пришлешь, приходи на Косово поле, и поделим саблями землю». Получил Лазарь письмо, читает его, а сам крупными слезами плачет.

«Вот какое заклятье наложил князь Лазарь: «кто не пойдет на бой на Косово, пусть не родится ничто от рук его, ни на поле белая пшеница, ни в винограднике лоза!»

«Пир пирует сербский князь Лазарь в Крушевце, крепком городе. Всех господ и детей господских посадил он за стол: по правую руку старого Юга Богдана (своего тестя) и подле него девятерых Юговичей (его сыновей, своих шурьев); а по левую руку Вука Бранковича (знатнейшего из вельмож) и всех остальных господ по порядку; а на конец стола воеводу Милоша (славнейшего богатыря) и подле него двух других воевод, Ивана Косанчича и Топлицу Милана. Берет царь золотой кубок вина и говорит сербским господам: «За чье здоровье пить мне этот кубок? Если по старшинству, то за старого Юга Богдана; если по вельможеству, за Вука Бранковича; если по родству, за моих девятерых шурьев, Юговичей; если по красоте, за Ивана Косанчича, если по росту, за Топлицу Милана; если по богатству, за воеводу Милоша. Ни за кого другого не стану же я пить, выпью за здоровье Милоша Обилича. Твое здоровье, Милош, верный и изменник. Прежде верный, а потом изменник! Завтра выдашь ты меня на Косовом поле и перебежишь к турецкому царю Мурату. Твое здоровье! Пей же вино! отдаю тебе кубок!» Вскрикивает Милош на легкие ноги и кланяется до черной земли. «Благодарю тебя, славный князь Лазарь, благодарю тебя за твой тост, за твой тост и подарок, только не благодарю тебя за такую речь. Клянусь жизнью, никогда не бывал я изменником, не бывал и никогда не буду. Нет, завтра на Косовом поле хочу я умереть за христианскую веру. Изменник сидит подле тебя: это проклятый Вук Бранкович. Завтра мы увидим на Косовом поле, кто верен, а кто изменник. Клянусь я богом великим, зарежу я завтра на Косовом поле турецкого царя Мурата, стану на горло ему ногою. А если даст мне бог и счастье мое воротиться живым в Крушевце, схвачу я Вука Бранковича, привяжу его к боевому копыю, как баба кудель на пряслицу, и отнесу его на Косово поле».

Какая чудная сцена! Изменник Вук старается поколебать уверенность князя в преданности лучшего богатыря; князь верит клевете и говорит богатырю:

— Теперь ты стал изменником, но, все-таки, пью за твое здоровье!

— Завтра увидим, изменник ли я, — отвечает богатырь.

После этого Милош посылает своего побратима, Ивана Косанчича, осмотреть турецкий лагерь, высмотреть, где шатер Мурата.

— Ну что, много ли войска у турок, можем ли мы с ними биться? Можем ли победить турок? — спрашивает Милош его по возвращении.

— Сильное войско у турок, брат мой Милош Обилич! Если бы мы все обратились в соль, не осолостили бы о нас рук турки. Пятнадцать дней ходил я по турецкому стану, не нашел ему края. От Мрамора до Сухого Явора, от Явора до Сазлии, от Сазлии до железного моста, от железного моста до Звечан, от Звечана

до Чечана, от Чечана до горного хребта — все покрыто турецким войском: конь стоит плотно к коню, человек к человеку. Если бы с неба упала крупа, не упала бы она нигде на землю, а везде на добрых коней и людей.

— Где же шатер царя Мурата? Я поклялся князю заколоть турецкого царя Мурата, стать ему ногой на горло.

— Безумство это, милый побратим! Если б у тебя были соколиные крылья и упал бы ты с неба на Мурата среди его сильной стражи, не унесли бы и крылья твоего тела.

— Ну, Иван, милый брат, не говори же ты этого князю, чтоб не испугать князя и войска. А скажи ты князю: довольно войска у турок, но можно с ними нам сразиться и легко их победить; не боевое у них войско, а все старики и малолетки, не видавшие боя; а какое войско у них и было, то богатыри перемерли от тяжких болезней, а добрые кони от мора.

«Сидит Лазарь за ужином, подле него царица Милица. И говорит ему царица: «Царь Лазарь! завтра ты идешь на Косово поле, ведешь с собою слуг и воевод, а дома не оставляешь ни одного мужчины, который бы мог отнести письмо к тебе на Косово поле и воротиться назад (ко мне с вестью о тебе). Уводишь ты девятих моих милых братьев, девятих Юговичей: оставь мне хоть одного брата, заклинаю тебя». Говорит ей сербский князь Лазарь: «Госпожа моя, царица Милица! которого же из братьев угодно тебе выбрать, чтоб я оставил его дома?» — «Оставь мне Бошко Юговича». Тогда сказал сербский князь Лазарь: «Госпожа моя, царица Милица! Когда завтра настанет белый день и взойдет солнце, и когда отворятся городские ворота, выходи ты к воротам. Через них строем пойдут войска. Поедут всадники с боевыми копьями, а впереди их Бошко Югович, он несет крестоносное знамя. Скажи ему от меня разрешение и просьбу, чтоб он отдал кому-нибудь знамя, а сам остался дома с тобою». Когда наза́втра рассвело утро и отворились городские ворота, вышла царица Милица, стала она у ворот, и пошли строем войска. Поехали всадники с боевыми копьями, впереди их Бошко Югович; на коне он, весь в чистом золоте; осенило его крестоносное знамя, свесилось оно до коня; на знамени золотые яблоки, на яблоках золотые кресты, от крестов висят кисти, расстилаются по плечам Бошко. Бросилась к нему царица Милица, схватила за узду коня, обвилась руками о жоло шеи брата и стала ему тихо говорить: «Брат мой, Бошко Югович! Царь тебя отдал мне, чтобы не ходил ты на бой на Косово поле; сказал тебе разрешение и просьбу, чтоб отдал ты кому-нибудь знамя, остался со мной в Крушевце, вымолила я себе брата». Но говорит Бошко Югович: «Ступай, сестра, на белую башню, а я с тобою не ворочусь, и не отдам из рук крестоносного знамени, хоть бы царь дарил мне Крушевец. Нет; тогда скажет остальная дружина: «Смотрите, какой трус Бошко Югович! Он не смеет итти на Косово поле пролить кровь за крест честный и умереть за свою веру!» И погнал он коня в ворота. Вот едет старый Юг-Богдан и за ним семь Юговичей. Всех семерых останавливала она одного за другим; ни один и слушать не хочет. И вот следом едет Воин-Югович (т. е. последний брат). Схватила она за повод его коня, обвилась руками около его шеи и стала ему говорить: «Брат мой, Воин-Югович! Царь отдал тебя мне и сказал, чтоб ты остался со мною в Крушевце». Говорит ей Воин-Югович: «Ступай, сестра, на белую башню: не ворочусь я с тобою, хотя бы знал, что погибну. Иду я, сестра, на Косово поле пролить кровь за крест честный и умереть за свою веру с братьями». И погнал он коня в ворота. Когда то увидела царица Милица, упала она на холодный камень, упала и лишилась чувств. Тут едет князь Лазарь. Полились у него слезы по лицу; озирается он направо и налево и кличет слугу Гоу-

банга. «Голубан, верный мой слуга! Сойди ты с коня, возьми госпожу на белые руки, отнеси ее на высокую башню. И приказываю тебе именем божим: не ходи ты на бой на Косово поле, а останься дома с нею». Когда то услышал слуга Голубан, полились у него слезы по белому лицу (оттого, что не может он итти на бой); сошел он с коня, взял госпожу на белые руки, отнес ее на высокую башню. Но не может он одолеть своего сердца, чтоб не итти на бой на Косово поле. Воротился он к своему коню, сел на него, поехал на Косово. Когда назавтра рассвело утро, прилетели два ворона с Косова поля широкого и сели на белую башню, на башню князя Лазаря; один каркает, другой говорит: «Это ли башня славного князя Лазаря? Или уж нет в ней никого?» Никто в башне того не слышал, слышала только царица Милица; она вышла из белой башни, спрашивает двух воронов: «Ради бога, скажите, два ворона, откуда вы полетели ныне? Не с Косова ли поля? Не видели ль два сильные войска? Сразились ли войска? и чье войско победило?» Говорят ей два ворона: «Бог свидетель, царица Милица, ныне утром полетели мы с Косова поля. Видели мы два сильные войска; сразились войска; оба царя погибли; из турок кое-кто и остался; а из сербов кто и остался, все переранены, перекровавлены». Они это еще говорили, как едет слуга Милутин, держит он правую руку в левой, на нем семнадцать ран, весь конь под ним в крови. Говорит ему госпожа Милица: «Что, неверный слуга Милутин? Или выдал ты царя на Косовом поле?» Но говорит слуга Милутин: «Сними меня, госпожа, с богатырского коня, умой меня холодной водою, примочи мои раны красным вином; изнемог я от тяжких ран». Сняла его царица Милица, умыла его студеною водою, примочила его раны красным вином. Когда он стал приходить в память, спрашивает его госпожа Милица: «Что было, слуга мой, на Косовом поле? Где погиб славный князь Лазарь? Где погиб старый Юг-Богдан? Где погибли девять Юговичей? Где погиб Милош воевода? Где погиб Вук Бранкович? Где погиб Банович Страхи́ня?» И начал слуга рассказывать: «Все легли, госпожа, на Косовом поле. Где погиб славный князь Лазарь, там много наломано копий, много копий и турецких и сербских, но больше сербских, нежели турецких, защищая, госпожа, своего князя. А Юг, госпожа, погиб вначале, в первом бою. Погибли восемь Юговичей, не выдавая брат брата. Остался лишь Бошко Югович; развлекает его крестоносное знамя по Косову полю, еще разгоняет он турецкие толпы, как сокол стадо голубей. Где стоит кровь по колено, там погиб Банович Страхи́ня. Милош, госпожа моя, погиб у Ситницы, у воды студеной, где погибло много турок. Милош убил турецкого царя Мурата и двенадцать тысяч турок. Бог да спасет его мать и отца! Он оставил по себе память сербскому народу, так что будут о нем говорить, пока будут на свете люди и Косово поле. А что спрашиваешь ты о проклятом Вуке, прокляты да будут и мать и отец его! Он изменил царю на Косовом поле и отвел к туркам, госпожа моя, двенадцать тысяч латников».

«Рано вышла в поле косовская девушка, вышла рано, до восхода солнца. Засучила белые рукава до белых локтей; на плечах несет белый хлеб, в руках две золотые чаши; в одной чаше холодная вода, в другой красное вино. Идет она, молодая, на косовскую равнину, ходит по месту битвы и переворачивает юнаков, лежащих в крови; которого юнака найдет живым, умывает его холодною водою, поит его красным вином, кормит хлебом. И дошла она до юнака Павла Орловича, до молодого княжеского знаменосца, и нашла его живым. Отсечена у него правая рука и левая нога до колена, и переломлены у него ребра, видны у него легкие. Поднимает она его из глубокой крови, умывает его холодною водою, поит его красным вином, кормит его белым хлебом. Когда в юнаке забилось сердце, говорит Павел Орлович: «Милая моя сестра, косовская девушка! Что у тебя за великая нужда, что осматриваешь ты в крови юнаков? Кого ты ищешь на месте битвы? брата или племянника, или родного отца?» Говорит косовская девушка: «Милый брат мой, незна-

комый воин! Не ишу я никого из родных, ни брата, ни племянника, ни старого отца. А знаешь ли ты, незнакомый воин, когда у князя Лазаря причащали войска около прекрасной Самодержжской церкви три недели тридцать калугеров (старых монахов)? Причастились все сербские войска, а после всех три боевые воеводы, один Милош воевода, другой Иван Косанчич, третий Топлица Милан. Я в то время стояла в воротах, когда шел воевода Милош. Красавец юнак! Волочитя у него сабля по земле, шелковая на нем шапка, кованое перо (т. е. серебряное, на шапке), пестрый на нем плащ, около шеи шелковый воротник. Озирается он и глядит на меня, снимает с себя пестрый плащ, снимает с себя и дает мне: «Возьми, девушка, пестрый плащ; по нем и по имени моем вспомнишь и найдешь ты меня. Я иду, моя душа, на смертный бой. Молись богу, моя душа, чтоб воротился я здоров с боя: тогда и тебе будет доброе счастье; возьму тебя в жены своему побратиму Милану, а сам буду у тебя свадебным провожатым». За ним идет Иван Косанчич; прекрасный юнак! Волочитя у него сабля по земле (следует прежнее описание), на руке у него позолоченный перстень. Озирается он и глядит на меня, снимает с руки золоченый перстень, скидает с руки и отдает мне: «Возьми, девушка, золоченый перстень! По нем и по имени моем найдешь ты меня (следует повторение прежних слов). Возьму тебя в жены своему побратиму Милану, а сам буду у тебя дружкой». За ним идет Топлица Милан. Красавец юнак! Волочитя у него сабля по земле, шелковая на нем шапка, кованое перо, пестрый на нем плащ, около шеи шелковый воротник, на руке у него золотое кольцо. Озирается он и глядит на меня, с руки снимает золотое кольцо, снимает с руки и дает мне: «Возьми, девушка, золотое кольцо, по кольцу и по имени моем вспомни меня: я иду на смертный бой, душа моя; молись богу, моя душа, чтобы воротился я здоров с боя. Тогда тебе, душа, будет доброе счастье: возьму я тебя верною подрукою». И ушли три боевые воеводы. Их я теперь ишу по месту битвы». И говорит Павел Орлович: «Дорогая сестра, косовская девушка! Видишь ли, душа моя, где лежат боевые копья наломаны густо и высоко? Там текла юнацкая кровь доброму коню до стремени и до повода, юнаку до шелкового пояса. Там погибли все трое они. Иди ты домой, не кровавь рукавов и платья». Когда девушка выслушала эту речь, полилась у нее слезы по белому лицу; пошла она домой, рыдая белою грудью: «Бедная я! несчастная я! Если до зеленой сосны дотронусь я, несчастная, и зеленая сосна посохнет!»

Прелесть содержания и художественная полнота формы одинаково совершенны в этих превосходных песнях. Читатели позволяют нам привести еще один пример из цикла наших эпических сказаний о Владимире. Былина, извлечение из которой мы хотим представить здесь, записана г. Фаворским и напечатана в «Прибавлениях к I тому Известий II Отделения Академии Наук». Мы позволяем себе держаться обыкновенного правописания, чтобы не шокировать глаза читателей непривычными формами.

У князя Володимира пир; наевшись в полсыта, напившись в полпьяна, бояре начинают хвастаться друг перед другом:

В полсыта бояре наедались,
в полпьяна бояре напивались,
промеж себя бояре похвалялись;
сильн-от хвалятся силою,
богатый хваляется богатством,
купцы-то хвалятся товарами,
товарами хвалятся заморскими;
бояре-то хвалятся поместьями,
они хвалятся вотчинами.
Один только не хваляется Данило Денисьевич.

Тут возговорит сам Володимир князь:
Ох ты гой еси, Данилушко Денисьевич,
еще что ты у меня ничем не хвалишься?
Али нечем те похвалиться?
али нет у тебя золотой казны,
али нет у тебя молодой жены,
али нет у тебя платья цветного?
Ответ держит Данило Денисьевич:
Уж ты батюшка наш Володимир князь!
есть у меня золота казна,
еще есть у меня молода жена,
еще есть у меня и платье цветное.
Нечто так я это призадумался.
Тут пошел Данило с широка двора.

Интродукция прекрасна. Тотчас по уходе Данила Денисьевича, князь Володимир советуется с боярами о выборе жены. Мишаточка Путятин сын говорит, что нигде не находит он невесты, достойной князя; одна только Василиса Никулишна, жена Данила Денисьевича, достойна быть супругою князя.

— Где же это видано, где слыхано, от живого мужа жену отнять? — грозно говорит Владимир и велит казнить коварного советника.

Но Мишаточка Путятин сын объясняет князю свой план отделаться от Данила Денисьевича:

Мы Данилушку пошлем во чисто поле,
во те ли луга леванидовы,
мы ко ключику пошлем ко гремачему,
велим поймать птичку белогорлицу,
принести ее к обеду княженецкому,
что еще убить ему льва лютого,
принести его к обеду княженецкому.

Данило погибнет при исполнении такого поручения. Владимиру понравилось это предложение. Все молчат, но старый козак Илья Муромец не скрывает своего неодобрения на этот замысел:

— Уж ты батюшка, Володимир князь! — говорит он, — изведешь ты ясного сокола, не поймать тебе белой лебеди.

Князь велит бросить его в темницу, а сам пишет письмо (ярлык) к Данилу Денисьевичу. Данило Денисьевич был в это время на охоте, и письмо получила Василиса Никулишна; прочитав его, тотчас догадалась она о грозящей опасности:

Стала Василиса ярлык пересматривать,
заливалась она горючими слезми;
скидывала с себя платье цветное,
надевает на себя платье молодецкое,
села на добра коня, поехала во чисто поле,
искать мила дружка своего, Данилушка.

Нашедши его, она говорит:

— Последнее у нас с тобой свиданье, мой сердечный друг!
Поедем домой!

Приготавливая мужа к отъезду для исполнения княжеского поручения, она подает ему вместо малого колчана большой.

— Зачем это? я велел тебе подать малый?

— Ты надеженька, мой сердечный друг, лишняя стрелочка тебе пригодится: пойдет она по своему брате богатыре.

Она предугадывает план врагов. Данило едет во чисто поле, в поля леванидовы, ко ключику ко гремачему, к колодезю к ступенюму. Глядит он — с киевской стороны

Не белы снега забелелися,
не черные грязи зачернелися,
забелелася, зачернелася сила (войско) русское,
на того ли на Данилу на Денисьича.
Тут заплакал Данило горючими слезми:
возговорит он таково слово:
Знать, гораздо я князю стал ненадобен,
знать, Володимиру не слуга я был.

Берет он саблю боевую, изрубил он высланное против него войско. Но через несколько времени глядит он опять на киевскую сторону и видит, что на него высланы новые противники:

Не два слона в чистом поле слонятся,
не два сыры дуба шатаются:
слонятся, шатаются два богатыря,
на того ли на Данилу на Денисьича:
его родный брат Никита Денисьевич,
и названный брат Добрыня Никитович.
Тут заплакал Данило горючим, слезим,
Уж и правду, знать, на меня господь прогневался,
Володимир князь на удалого осердился:
еще где это слыхано, где видано,
брат на брата со боем (с боем, на бой) идет.
Берет Данило свое востро копьё,
Тупым концом втыкает во сыру землю,
А на вострый конец сам упал.
Спорол (вспорол) себе Данило груди белые,
покрыл себе Денисьич очи ясные.

Извещенный о его смерти, Володимир собирает свадебный поезд и едет в Чернигов, входит в терем вдовы:

Приехали ко двору ко Данилину,
восходят во терем Василисин-от.
Целовал ее Володимир во сахарные уста.
Возговорит Василиса Никулишна:
Уж ты, батюшка, Володимир князь!
Не целуй меня в уста во кровавы,
без моего друга Данилы Денисьича.
Тут возговорит Володимир князь:
Ой ты гой еси, Василиса Никулишна!
наряжайся ты в платье цветное,
в платье цветное, подвенечное.
Наряжалась она в платье цветное,
взяла с собой булатный нож.
Поехали ко городу ко Киеву.

Когда поровнялся поезд с лугами леванидовыми, Василиса Никулишна просит князя, чтоб он отпустил ее проститься с телом мужа. Володимир отпускает ее под стражею двух богатырей.

Подходила Василиса ко милу дружку,
поклонилась она Даниле Денисьичу,
поклонилась она, да восклонила;
возгóворит она двум богатырям:
Ох вы гой есте, мои вы два богатыря,
вы подите, скажите князю Володимиру,
чтобы не дал нам валяться по чисту полю,
по чисту полю со милым дружком,
со тем ли Данилом Денисьевичем.
Берет Василиса свой булатный нож,
спорола себе Василисушка груди белые,
покрыла себе Василисушка очи ясные.

Ее последнюю волю передают Володимиру, и по приезде в Киев он выпускает из погреба Илью Муромца, который предвещал ему гибельный конец замысла, и наказывает злого советника Мишатку Путятину:

Выпущал Илью Муромца из погреба,
целовал его в головку, во темнчко;
Правду сказал ты, старóй казак,
старóй казак, Илья Муромец!
Жаловал его шубой соболиною;
а Мишатке пожаловал смолы котел.

Русская былина уступает в поэтическом достоинстве сербским песням; но и она прекрасна. Что же касается до сербских песен, нами переведенных здесь, должно решительно сказать, что только у первоклассных поэтов могут быть найдены произведения, равные им по красоте. Почему же эта народная поэзия у всех народов уступала место письменной литературе, как скоро народ начинал цивилизоваться? Почему повсюду вместо песен, созданных всем народом, как одним нравственным лицом, появлялись произведения, писанные отдельными лицами? Общий ответ мы уже видели выше: одинаковость умственной и нравственной жизни во всех членах племени уничтожается цивилизацией, с тем вместе должна упасть и поэзия, принадлежавшая нераздельно целому народу. Но если ясно из этого, почему в наше время у немцев или русских не может вновь являться песен, подобных сербским, то еще остается неразрешенным важнейший вопрос: почему образованные слои народа не удовлетворяются прекрасными песнями, которыми довольствовались их предки? Почему немцы читают Гёте и Шиллера, а не Нибелунгов, русские Пушкина, а не Киршу Данилова? Не есть ли пренебрежение народных песен для произведений отдельных поэтов несправедливость? Подобные вопросы были подняты в германской литературе тевтономанами и романтиками⁶. У нас они слышатся еще довольно редко, тем не менее могут иметь свой интерес.

Цивилизуясь, народ перестает вообще удовлетворяться патриархальным бытом и его произведениями; почему, здесь не место говорить; мы должны смотреть только на нашу специальную сторону общего вопроса, на причины того, что, цивилизуясь, народ перестает удовлетворяться народной поэзией. Умственная и нравственная жизнь патриархального общества слишком бедна для цивилизованного народа. Потому и содержание народной поэзии слишком бедно для него. В самом деле, если народная поэзия превосходно развивает свои темы, то тем у нее очень мало и они слишком просты; то же самое надобно сказать и о чувствах, проникающих народные песни. Военские воспоминания — вот вся история патриархального народа; любовь доброго молодца (без всякой определенной характеристики) к красной девице (без всякой определенной характеристики) и два-три другие, столь же общие мотивы — вот все содержание лирики. Народная песня должна прилагаться к чувствам решительно каждого человека; иначе она не нужна целому народу, а годится только для нескольких отдельных лиц — вот первая причина этой скудости; вторая причина — в патриархальном обществе действительно нет ни духовного разнообразия, ни мыслей и чувств, сколько-нибудь разнообразных или многосложных. Цивилизованный молодой человек, не просто «добрый молодец», любит «красную девицу» не потому только, что она «красная девица», — он, смотря по различию своего нравственного направления, ищет в ней особенных качеств характера, ума и т. д.; ни о чем подобном не знает народная песня. Потому ее портреты, ее чувства не довольно близко подходят к лицам и чувствам образованного общества; в ней мало индивидуальных особенностей, которых мы более всего ищем, чтобы сказать: «это говорится обо мне, это подходит к моему положению и чувствам». Что мы сказали об эротической песне, прилагается и ко всякой другой народной песне. Моим потребностям соответствуют только песни отдельных поэтов, выражающих не чувство вообще, а именно такое чувство, каким проникнут именно я и которое остается чуждо в этом особенном развитии для многих других людей. Вот почему даже те понятия и чувства, которые общи образованному человеку с патриархальным (наприм., любовь), выражаются в народной поэзии неудовлетворительным для нас образом. Не говорим уже о том, что цивилизация развивает в нас множество чувств и, особенно, понятий, о которых вовсе не знает патриархальный человек. О многом, чего мы ищем в поэзии, народная поэзия вовсе не говорит; о чем говорит, говорит не так, как должна говорить поэзия по нашим требованиям. Содержание народной поэзии слишком бедно для нас.

Столь же неудовлетворительна для нас ее форма. Иногда случается слышать, что народную поэзию обвиняют в недостатке художественной формы. Это совершенно несправедливо. О чем говорит народная поэзия, говорит она чрезвычайно художест-

венно. Ее недостаток совершенно другого рода; это — однообразие, доходящее до чрезвычайной монотонности. Сущность патриархальной жизни — неподвижность; формы этой жизни — неподвижные, оцепеневшие формы. Точно таковы же они и в народной поэзии. Об этом достаточно говорит уж внешний состав стиха, до чрезвычайности однообразный. Так, все греческие эпические песни сложены гекзаметром; во всех сербских один и тот же стих, десятисложный, разделяющийся на две половины, из которых в первой четыре, а во второй шесть слогов, например:

Царь Мурате / у Косово паде;
Како паде / ситну книгу пише:
Те је шале / на Крушевцу граду, и т. д.

(Начало первой из переведенных нами песен: царь Мурат на Косово пришел; как пришел, мелкое письмо пишет и его посылает в город Крушевец.) Точно так же неизменны обычные, так называемые «эпические» выражения, которыми наполнены все песни. У нас, например, всегда *добрый* молодец, никогда просто *молодец*, или с каким-нибудь другим эпитетом; *красна* девица, *лютая* свекровь *матушка*, *сыра* земля и т. д.; у сербов всегда легкие ноги, гибкие ребра, белый двор, холодная вода, боевое копье и т. д. Как бы ни была велика меткость и красота подобных эпитетов, без которых не обходится ни одно часто употребляемое слово в народной поэзии, нельзя, однако же, не признать, что их беспрестанное повторение чрезвычайно монотонно. Этим не ограничивается монотонность, неподвижность формы; она идет гораздо далее: все фразы, все мысли, все картины имеют один и тот же, раз навсегда установившийся, неизбежный вид. Постоянно повторяются одни и те же стихи, целые отрывки из нескольких стихов. Это каждый может заметить, сличив несколько песен. Потому песни так легко и перемешиваются одна с другою, сливаются, раздробляются; каждая из них — мозаика, составленная из кусков, беспрестанно повторяющихся в других песнях. Каждый из них прекрасен, в этом нет спора; но что сказали бы мы, если б, например, у Пушкина повторялись двадцать раз в разных поемах прекрасные стихи:

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя...

И если б он, говоря о Кавказе сто или более раз, каждый раз описывал его так:

Кавказ подо мною; один в вышине
Стою над снегами у края стремнины;
Орел, с отдаленной поднявшись вершины, и проч.

Мы нисколько не оскорбляемся подобными повторениями в народных песнях. Из этого следует, что мы не прилагаем к ним тех требований, соблюдение которых ставим в непререкаемую обязанность поэзии, нас удовлетворяющей.

Вообще, нам кажется фактом, не подлежащим сомнению, что народная поэзия не может удовлетворять цивилизованного человека. Ее содержание слишком бедно и однообразно; форма столь же однообразна. Она — отголосок прошедшего младенчества, вспомнить о котором приятно и прекрасно, но возвратиться к которому для нас невозможно, а если бы и было возможно, то нисколько не было бы приятно. Но, не удовлетворяясь ею, мы не можем не сочувствовать ей всегда, не заслушиваться часто до умеления прекрасных, свежих, энергических мотивов ее.

Не говорим уже о двух других ее драгоценных качествах. Она до сих пор остается единственною поэзиею массы народонаселения; поэтому она интересна и мила для всякого, кто любит свой народ. А не любить своего родного невозможно. Другое достоинство ее — чисто ученое: в народной поэзии сохраняются предания старины. Потому важность ее неизмеримо велика и посвящать свою жизнь собиранию народных песен — прекрасный подвиг.

Народная поэзия прекрасна. Этого, кажется, было бы довольно для успокоения нашей любви к ней. Но есть люди, которым непременно хочется, чтобы народная поэзия их племени была признана превосходнейшею в мире. Не знаем, зачем общий вопрос необходимо низводить в область споров. Но вот что говорит г. Берг в своем «Предисловии»:

«Во главе лирических песен я ставлю русскую, песню всех песен. Нет песни песеннее ее, оригинальней и народней. В этом отношении она стоит решительно отдельно ото всех и никакая другая далеко к ней не подходит. Ни одна не представляет такой свободы размеров в одной и той же песне при общей гармонии (неодинаковое число слогов в разных стихах одного размера — качество, о котором здесь говорит г. Берг, — находится не только в народных песнях многих народов, но даже во многих письменных версификациях, напр., в греческой, латинской, отчасти даже немецкой; удивительного и особенного здесь ничего нет). С другой стороны, ни одна не имеет такого яркого, играющего языка. Ни в одной нет такого размаха, такого собрания звуков, как бы вытекающих один из другого (?) и неудержимо несущихся один за другим. Откуда же явилось такое преимущество русской песни? Прежде всего от ее языка, какого нигде нет. Ни один не устоит в борьбе с этим богатырем, с этим Ильёю Муромцом, у которого еще не убавлено силы переходными калитами.

Кабы на сему часть (?)».

Наука разрешает вопрос этот гораздо полнее и шире, нежели г. Берг. Превосходная народная поэзия была у многих народов. Теперь она почти у всех европейских народов или совершенно, или очень низко упала. Исключение остается едва ли не за одними сербами, у которых народная поэзия еще в полной силе свежести. Так же свежа и цветуща была она у малоруссов лет шестьдесят

или восемьдесят назад; лет около ста или полутора ста назад (а может быть и более) она была так же свежа и цветуща у великоруссов. Различие только в том, раньше или позже коснулась народа цивилизация, успели записать народные песни в их полной свежести, или принялись за это дело тогда, когда уже начался упадок. Сербь были так счастливы в этом случае, что лучший из всех собирателей песен, Вук Стефанович Караджич, записывал и записывает сербские песни, еще нимало не утратившие первоначальной своей красоты. Нет сомнения, что и для сербской народной поэзии скоро начнется (и отчасти уже начался) период падения. Рассматривать здесь, у которого из остальных славянских племен народные песни успели до сих пор сохраниться лучше, значило бы вдаваться в споры. По мнению одних, после сербской поэзии второе место занимает великорусская, по мнению других, малорусская, по мнению третьих, словацкая. Мы положительно уверены только в том, что и великорусские, и малорусские, и словацкие песни прекрасны. Из других европейских народов многие также сохранили еще прекрасную народную поэзию, например, греки, испанцы, хотя, повторяем, у всех, кроме сербов, и, быть может, греков, она уж давно находится в периоде упадка.

Основанием для всего этого длинного объяснения понятий, каких достигла наука относительно существенного достоинства народной поэзии, послужило нам «Предисловие» г. Берга, написанное слишком с большим увлечением. Мы нисколько не ставим этого увлечения в вину г. Бергу; оно очень естественно в поэте, столь преданном народной поэзии, как почтенный переводчик «Песен разных народов». Нам только хотелось показать беспристрастную точку зрения на явления очень интересные и в самом деле увлекательные. Но уже давно пора нам перейти от предисловия к самой книге. Г. Берг в конце предисловия говорит: «В заключение прошу покорнейше всякого, кому случится прочесть эти строки, во-первых, указать мне замеченные недостатки в моем издании, относительно перевода, взгляда на тот или другой отдел, и даже, если можно, опечатки в тексте. Во-вторых, сообщить мне все, что есть у него любопытного в песенном роде». Если бы не были мы уверены в искренности желания, высказываемого на первом месте, мы не стали бы вовсе говорить о том, что, по нашему мнению, должно было бы в издании г. Берга быть иначе: мы ограничились бы одними похвалами прекрасному и добросовестному труду: он вполне заслуживает их, и недостатки его далеко уступают достоинствам. Но очевидно, что г. Берг страстно предан своему прекрасному делу, и потому в самом деле будет доволен, если замечания рецензентов дадут ему случай обратить внимание на те или другие стороны его труда. Только это побуждение и заставляет нас высказать наши мнения об основаниях, которыми руководился г. Берг при выборе и переводе песен.

Сборник г. Берга разделяется на две половины — лирические песни и эпические песни. В лирическом отделе он поместил песни восемнадцати народов. Но из этих подразделений четыре представляют только по одной песне, и притом незначительной; именно, г. Берг перевел одну санскритскую песню, одну баскскую, одну армянскую, одну калмыцкую. Эти песни ничего не показывают. Или надобно было представить более песен, чтобы их собрание сколько-нибудь характеризовало поэзию народа, или не помещать в сборник одинокой, ничего не говорящей песни. Точно так же недостаточны отделы финских, албанских, арабских, персидских, татарских песен. Нам кажется, что г. Берг слишком увлекся желанием представить редкие песни, и что это желание иногда имело не совсем благоприятное влияние и на выбор песен в других отделах. Г. Берг жалуется на скудость материалов. Но мы уверены, что в московских библиотеках он находил богатые коллекции изданий народных песен. Что могло там не быть армянских или баскских сборников, мы готовы предположить; скудости песен на других языках, особенно на славянских наречиях, предполагать нельзя. На этом, излишнем, по нашему мнению, желании сообщать редкие песни основана и просьба «сообщать ему все, что каждый имеет любопытного в песенном роде». Подобных присылок вовсе не нужно ожидать г. Бергу, чтобы дополнить свой сборник; мы требуем от него не баскских или калмыцких песен, а просто хорошего и полного выбора песен тех народов, которые имеют хорошие издания песен. Выбирать и переводить — эта задача уже довольно велика и трудна, и напрасно г. Берг будет развлекать свои силы, заботясь также о собирании песен, неизвестных еще в ученом мире. Разделение труда — первое условие его успешности. Вероятно также, что г. Бергу стоило чрезвычайно многих усилий достать исправные списки армянских, калмыцких, и так далее, песен, и еще больших трудов — исправно напечатать их текст. Санскритский текст он решился даже литографировать — конечно, по недостатку шрифта; сколько напрасных трудов, траты времени и расходов! Нет сомнения, что прекрасно делает г. Берг, печатая вместе с переводом тексты песен разных славянских наречий и общеизвестных языков. Многим будет приятно прочитав в подлиннике словацкую, сербскую, французскую песню; сличение текста с переводом в этих случаях даст многим возможность вернее судить о достоинстве перевода. Но кому из читателей принесет хотя малейшую пользу или удовольствие текст санскритской, литовских, мадьярских, финских, албанских, арабских, персидских, татарских, баскской, армянской, калмыцкой песен? Едва ли многим будет полезен также испанский, норвежский, шведский, датский, бретонский тексты. Печатать их совершенно излишняя ученая (или, лучше сказать, мнимо ученая) роскошь. Забота о ней была, вероятно, причиною того, что г. Берг мало заботился о песнях менее редких. Так, например, у него поме-

щены только эпические сербские, испанские и французские песни, лирических нет; немецких песен нет у него совершенно; английских, шотландских, ирландских также совершенно нет.

Выбор песен также неудовлетворителен. Укажем один пример. Из множества превосходных эпических сербских песен у него выбрана только одна не замечательная ни в каком отношении песня о Бановиче Страхине.

Наконец — важнейшая часть труда — перевод бывает очень часто неудачен; читатели убедятся в этом из примеров, которые мы приведем ниже; но часто г. Берг нарушает простоту подлинника прибавлением эпитетов; иногда перевод бывает и просто не совсем удачен. Приводим несколько примеров. Вот песня чешских реформатов (по недостатку шрифта пишем текст русскими буквами):

Красна е та ржека,
Ржека Волтава,
Кде су наше домы,
И власть ласкава;
Гезке е то место,
То место Прага,
В ктерем быдли наше
Родина драга... и т. п.

Светлая ты речка,
Речка ты Влтава!
Наше ты веселье,
Красота и слава!
Красное то место,
Прага дорогая,
Наш престольный город,
Родина святая!

Вот буквальный перевод:

Прекрасна та река, река Влтава, где наши дома и милая родина.
Прекрасен тот город, город Прага, где наши жилища, родина дорогая, и т. д.

Вот начало сербских песен:

1

1

Бога моли момче неженено.
Да се створи край мора бисером
(бога просит неженатый молодец,
чтобы сделаться жемчугом на берегу моря).

Бога молит молодец удалый,
Чтобы дал ему оборотиться
Жемчугом зернистым, перекатым
И рассыпаться край синя моря.

2

2

Лепо пева славуяк
У зеленой шумици
(Хорошо поет соловушек
в зеленой роще).

Распевала пташка мала,
Пташка мала соловейка,
В темной роще распевала...

Г. Берг говорит: «Обыкновенно думают, что надо переводить слово в слово. Не важен стих, а важен дух, важен результат впечатления. В народном языке всего нужнее свобода слова» и т. д. Но приведенные нами примеры показывают, что отступления от смысла и духа подлинника простираются у г. Берга иногда слишком далеко. Напрасно ссылается он на пример Пушкина: Пушкин переводил сербские песни гораздо точнее. Но после этих замечаний, вызванных желанием самого г. Берга, мы должны показать

читателям и примеры удачных переводов. Это гораздо приятнее. Мы сказали, что выбор песен у г. Берга не может достаточно знакомить с духом поэзии того или другого народа; потому берем песни, лучшие в эстетическом отношении, не заботясь о том, характеризуют ли они народ, которому принадлежат, или только народную поэзию вообще. Во всяком случае, они дадут читателю средство судить о достоинствах перевода г. Берга.

(Литовская)

Как у батюшки сгорожен огород,
В огороде липка-липочка растет.

Дочка батюшки по темным по ночам
С дворянином разговаривает там.

С дворянином, с добрым парнем, с молодцом,
С ним тихонько обручается кольцом.

«Не ходи, сестра, ты ночью к молодцу,
А не то скажу я батюшке-отцу!»

«Братец, братец, братец милой-дорогой,
Что ты скажешь об сестре своей родной?»

Что два слова-то сказала с молодцом?
Или то, что обручалась с ним кольцом?»

«Не про те твои два слова с молодцом,
А про то, что обручалась с ним кольцом».

В понедельник вышла девица гулять —
Не видать ее во вторник, не видать!

Выезжали братья в среду поутру,
Стали спрашивать про милую сестру.

В барабаны барабанили три дни
И трубили в трубы медные они.

Наконец к реке широкой подошли
И утопленницу бедную нашли:

Тело белое лежало на песке,
И купались косы черные в реке.

(Литовская)

Ведите коня вороного,
Ведите коня молодцу.
Поеду я к старому тестю,
Я к старому тестю, к отцу.

Здорово! день добрый и вечер!
Как можешь-живешь, старина?
Что делает наша невеста,
И все ли здорова она?

Больнешенька наша невеста,
Больнешенька; в новой клети
Лежит горемыка в постели,
Поди ты ее навести.

Пошел через двор я широкий,
А слезы-то, слезы ручьем!
Откинул я дверку у клети
И слезы обтер рукавом.

Взял за руки белы невесту,
Прижал их, целуя, к себе:
Скажи, мое красное солнце,
Не легче ли стало тебе?

Не легче, не будет мне легче,
Не быть мне невестой твоей:
Другую ты любишь-голубишь —
Ступай и присватайся к ней!

А я собираюсь в гости,
Мне пир пировать на погосте...
Прощай... а скажи, хороша
Твоя чародейка-душа?

(Лужицкая)

Красная девица жала траву,
Травку-муравку зелененькую;

Много нажала зеленой травы,
Целу вязанку нарезала.

Красная девица лесом пошла,
Хлысть ее ветка по белой щеке.

«Что ты, зеленая ветка моя,
Что ты дерешься, похлестываешь?

Есть у меня братья верные,
Им я велю ветку срезать,

Им я велю ветку срезать,
Срезать, под самый срубить корешок».

«На зиму ветку вы срежете
На весну снова я выбегу,

Свежими выйду побегами,
Новым кудрявым деревцом.

Если ж погубишь ты, девица, честь —
Честь к тебе ввек не воротится».

(Лужицкая)

Хочешь знать, кто я таков?
Из простых я мужиков
И хочу жениться!

Припасите для меня
Девку, саблю и коня —
На войне годится!

На войну, в кровавый бой,
Захвачу я их с собой...

(Чешская)

Говорит мне снова
Нынче мать милова,
Чтобы я забыла,
Про ее про сына.

На такие речи
Я ей отвечала,
Чтоб она покрепче
Сына привязала,

Привязала б сына:
Не ходи, мол, мимо,
К девкину порогу
Не топчи дорогу.

(Словацкая)

Конь под Белградом стоит вороной;
На нем сидит,
Кровью покрыт,
Миленький мой.

Знаешь ли, милá, как битва живет?
Видишь: с меня,
Видишь: с коня
Кровь так и льет.

Знаешь ли, милá, какой наш обед?
Наша еда —
Хлеб да вода,
Вот наш обед.

Знаешь ли, милá, где я буду спать?
Там, где убьют,
Там погребут,
Там мне лежать.

Знаешь ли, кто у меня звонарем?
Раненых стон,
Сабельный звон,
Пушечный гром.

(Словацкая)

Люди мне сказали, будто в поле тучи —
А то зачернели миленького очи.

Люди мне сказали, поле загорелось —
А то у милóва личико зарделось;

Люди мне сказали, что гогочут гуси —
А то заиграли миленького гусли.

Люди мне сказали, пролетела пташка —
А то забелела милого рубашка.

Люди мне сказали, поле гулко стало —
Поле гулко стало — милый гонит стадо.

(Моравская)

Уж не быть тому вовеки, что прошло, что было,
Не светить, знать, красну солнцу, как оно светило!

Не знать мне прежней доли с прежней мочью-силой,
На коне своем удалом, знать, не ездить к милой!

Мне светило красно солнце в малое оконце,
А теперь светить не хочет, частый дождик мочит;

Частый дождик, непогода, бьет, стучит в окошко...
Заросла к моей любезной торная дорожка.

Заросла она кустами, заросла травой
С той поры, как я спознался с милою другою.

(Польская)

Дождик, дождик моросит, взмокла вся поляна.
Ах, люби меня, Ванюша, верно, без обмана!

Я люблю тебя, люблю, много, как умею;
Коли стану изменять, чтоб сломать мне шею!

Только стал он выезжать на большу дорогу,
Он головушку сломил, а конь верный ногу.

Знать, тебе не верен был милый твой Ванюша:
Так вдругорядь никого, дочка, ты не слушай.

(Польская, краковяк)

Свищут, свищут соловьи, песенки заводят;
Нынче молодцам не верь: вас они проводят;

Нынче молодцам не верь; да и девушкам тоже:
Знать, такая вышла мода, ни на что не гожа!

(Польская, краковяк)

Сказывают люди — и что им за дело? —
Что девица с молодцом вечером сидела.

(Мадьярская)

Два милых было у меня
Дороже всей родни,
Да бедность одолела их, —
И умерли они.

Что одного-то милого
В саду я положу,
Другого я сердечного
Под сердцем схороню.

Полью в саду я милого
С Дунай-реки водой,
Полью дружка сердечного
Горючих слез рекой.

(Греческая)

Скорее бросайся ты с берега вплавь,
Руками своими, что веслами, правь,
А грудь молодецкую выгни рулем, —
И легким и быстрым плавни кораблем!
Бог даст, и поможет пречистая нам.
Ты будешь, товарищ, сегодня же там,
Где, помнишь, мы жарили вместе козлят.
Про то, что погиб я, не сказывай, брат!
А если расспрашивать станет родня, —
Скажи, что в чужбине женили меня,
Что был мне булат посаженным отцом,
Что нас угощали на свадьбе свинцом,
Что мне за женою моей отвели
В приданое сажень косую земли.

(Греческая)

Садилось солнце, и день уходил,
А Дим паликарам своим говорил:
Неможется, дети! пора на покой!..
Сходите на ужин себе за водой;
А ты мой Лабракис, один мне родня, —
Ты будь капитаном заместо меня;
Покуда же, дети, вы саблей моей
Зеленых в лесу нарубите ветвей:
Я лягу на тех на зеленых ветвях
И каяться стану попу во грехах.
Арматолом долго в горах я служил,
Албанцев и турок без счету побил;
Но, видно, черед наступает и мой..
Вы гроб сколотите мне, дети, большой,
Чтоб был он просторен, широк и высок
Чтоб саблей в гробу я размахивать мог,
Чтоб мог и винтовку я там заряжать
И в турок неверных оттуда стрелять;
Чтоб было с обеих сторон по окну:
В одно пусть мне несут косатки весну,
К другому летают пускай соловьи,
Пускай распевают мне песни свои.

(Баскская)

За песни я снова —
И песня готова!
Веселья такова
Не знал никогда я,
Лишь прибыл сюда я
Из вольного края,
Играя,
Кипит моя кровь молодая!

Однажды в апреле,
Когда нас хотели
Опять в цитадели

Вести на работы, —
Мы шмыг под ворота,
Не зная заботы,
И с моста
Проворно спустились в болота.

Когда ж там узнали,
Что мы убежали,
Ну, было печали!
Пошли разговоры,
И брань и укоры,
И крики и споры,
Где воров?
А мы пробирались уже в горы.

Некоторые из выписанных нами песен переведены прекрасно, большая часть находящихся в сборнике — не дурно. Более разборчивости при выборе — вот необходимейшее условие для того, чтобы дополненный сборник (г. Берг, очевидно, не хочет останавливаться на первом опыте) получил еще большее достоинство. Впрочем, и в настоящем своем виде он свидетельствует о добросовестной любви составителя к своему делу; многие песни показывают в переводчике способность переводить хорошо. Русская литература должна быть благодарна г. Бергу за его прекрасное издание.